

Павел Рейфман (Тарту)

«Таков прямой поэт...»
 (О стихотворении Пушкина
 «С Гомером долго ты беседовал один...»)

Когда приближалось мое 80-летие и я заканчивал читать лекции студентам, а с делом расставаться не хотелось, Любовь Николаевна Киселева, наша бывшая студентка, а к моменту разговора — заведующая кафедрой русской литературы Тартуского университета, сказала мне: «Павел Семенович, почему бы Вам не прочитать для магистрантов и докторантов несколько лекций по истории русской цензуры? Вы когда-то о ней рассказывали, было интересно». Я согласился, не предполагая, что из этого получится. Получился большой спецкурс. Год ушел на русскую цензуру, другой год — на советскую. А потом стало жалко выбрасывать сделанные записи. Меня научили к этому времени вводить текст в Интернет. И я засел за электронную книгу, над которой работал несколько лет. В результате мною были написаны очерки «Из истории русской, советской и постсоветской цензуры», объемом более тысячи страниц. Заслугу или вину за создание моей *Цензуры* делит со мной, хочет того она или нет, Любовь Николаевна: не будь ее предложения прочитать спецкурс, не было бы и книги. Приведу отрывок из нее.

«С Гомером долго ты беседовал один...» Так начинается стихотворение Пушкина, одно из лучших в его лирике. В советских изданиях оно называется «К Гнедичу». В дореволюционных — «К Н***». Кому оно адресовано? Об этом ведется спор, начатый вскоре после публикации стихотворения и продолжающийся до нашего времени. При жизни поэта оно не печаталось, было обнаружено в бумагах Пушкина после его смерти, без названия и даты. В 1841 г. Жуковский напечатал его, поставив заглавием «К Н***» (судя по всему, публикатор считал, что это послание к Николаю I). Почти одновременно возникла другая версия: адресат — переводчик «Илиады» Н. И. Гнедич.

Привожу текст стихотворения:

С Гомером долго ты беседовал один,
 Тебя мы долго ожидали,
 И светел ты сошел с таинственных вершин
 И вынес нам свои скрижали.
 И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром,
 В безумстве суетного пира,
 Поющих буйну песнь и скачущих кругом
 От нас созданного кумира.
 Смугились мы, твоих чуждаяся лучей.
 В порыве гнева и печали
 Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
 Разбил ли ты свои скрижали?
 О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
 Скрываться в тень долины малой,
 Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
 Жужжанью пчел над розой алой.

Позднее П. В. Анненков обнаружил еще восемь строк и включил их в стихотворение:

Таков прямой поэт. Он сетует душой
 На пышных играх Мельпомены,
 И улыбается забаве площадной
 И вольности лубочной сцены,
 То Рим его зовет, то гордый Илион,
 То скалы старца Оссиана,
 И с дивной легкостью меж тем летает он
 Во след Бовы иль Еруслана.

Эти строки, скорее всего, ориентированы на Гнедича, особенно последние четыре.

Версию адресации стихотворения Николаю I поддержал Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (письмо X «О лиризме наших поэтов», адресованное Жуковскому): «Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: „К Н****“. Вот ее происхождение. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул „Илиаду“ и увлекся нечувствительно ее чтением во все то время, когда в залах уже давно гремела музыка

и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оставило сильное впечатленье, и плодом его была следующая величественная ода». Далее Гоголь приводит стихотворение. Напомним, что перевод «Илиады» Гнедич посвятил императору и, конечно, послал ему экземпляр. По утверждению Гоголя, Пушкин присутствовал при этом эпизоде и написал стихотворение, посвятив его царю. Таким образом, Гоголь присоединился к версии Жуковского, подробно обосновав ее. Тем самым выяснялась и дата: первая половина 1834 г. Этот рассказ Гоголя цензура не пропустила (публикацию об императоре, лицах императорского дома она не имела права разрешать без утверждения свыше).

Рассказав историю посвящения, как бы предчувствуя, что она вызовет возражения, Гоголь аргументировал свою точку зрения. Традиция *величественной оды* (жанр, к которому Гоголь относил стихотворение), по его словам, вполне объясняла и панегирический тон, и библейские сопоставления (Николай — Моисей). Гоголь писал о гимнах и одах как об особом высоком жанре; в них воспеваются героические события, они посвящены монархам, для них характерна гиперболизация, и вряд ли правомерно требовать от авторов соответствия изображенного реальным фактам: «Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине<...>». Вероятно, Гоголь имеет в виду конкретно «Фелицу», первую оду, сделавшую имя Державина известным, начинающуюся словами «Богopodobная царевна...», содержащую «излишние похвалы» («ангел кроткий, ангел милый», «кто благостью велик, как Бог» и т. п.). По мысли Гоголя, поэтика оды подсказывает систему образов, предполагает библейский высокий стиль, вполне закономерный в послании к монарху и неуместный при обращении к кому-либо другому. Упоминает Гоголь и о том, что Пушкин, при его гордости и независимости мнений, вряд ли мог посвятить такой панегирик кому-то, кроме царя, поставив себя ниже своего адресата. Доводы убедительные, хотя и не безусловные.

Версию посвящения стихотворения Николаю поддерживала А. О. Смирнова-Россет. Она хорошо знала Пушкина, Гоголя, Жуковского. Гоголь состоял с Россет в активной переписке в пору работы над «Выбранными местами...». Россет благоволил и император. Она была фрейлиной при императрице Александре Федоровне, придворной дамой. Через нее Пушкин передавал царю или получал обратно некоторые свои произведения: «Вы будете курьером Пушкина, его фельдъегерем». В «Дневнике», который Пушкин вел в 1833–1835 гг., неоднократно сочувственно упоминается ее имя.

В. А. Воропаев, сторонник *версии Николая* (по-моему, вполне убедительно им обоснованной), ссылается на воспоминания Рос-

сет: «История, рассказанная в статье „О лиризме наших поэтов“, находит подтверждение в „Записках А. О. Смирновой“, изданных ее дочерью Ольгой Николаевной Смирновой <...> Здесь, в частности, упоминаются поэмы и стихотворения Пушкина, которые Александра Осиповна передавала на прочтение императору Николаю Павловичу...»¹

Дело осложняется тем, что процитированные далее строки приводятся Воропаевым по «Запискам...», опубликованным дочерью А. О. Смирновой. Сразу же после появления этого текста началась полемика о его подлинности. Полемика то усиливалась, то затихала вплоть до советского времени. В 1929 г. Л. В. Крестова подготовила издание мемуаров А. О. Смирновой, сопроводив его статьей². Основные ее положения считались в течение шестидесяти лет непреложной истиной, опровергающей фальсифицированные публикации дочери Россет. Крестова уверяла, что ни одному слову О. Н. Смирновой нельзя верить. Поэтому критики Воропаева отвергают текст, который он цитирует. Но известно, что текст, подготовленный Крестовой, тоже отнюдь не безупречен, о чем идет речь в весьма убедительной статье С. В. Житомирской. Крестова, по ее словам, произвольно смешивала документы, «подчиняя текст своему редакционному замыслу <...> Но мало этого. Нет сомнения, что, решая вопросы выбора и объема печатаемого текста, Л. В. Крестова вынуждена была подчиняться диктату общественных условий, в которых осуществлялось издание. Из него последовательно устранялись, например, все рассказы Смирновой о царской семье и лично Николае I, носящие характер панегирика, опускались доброжелательные характеристики реакционных деятелей той эпохи»³.

В 2003 г. «Записки...» Смирновой-Россет были переизданы⁴, затем появилась статья В. Есипова, признающего, что «Записки...» А. О. Смирновой — источник «очень мутный», что в них множество недостатков, но решительно отвергающего версию фальсификации. Есипов резко осуждает выводы Крестовой, увязывая их с общими причинами: «только в советское время те или иные сообщения мемуаристов возводились, когда нужно было хоть как-то обосновать определенную концепцию, в ранг научной истины»; «Записки...» «оказались не созвучными наступившей эпохе», послереволюционному времени; их реальные недостатки позволили «объявить их подложными <...> и, как тогда казалось, навсегда предать забвению»⁵. Эта миссия, считает Есипов, и была выполнена Крестовой. О царе, читающем Гомера, и стихотворении Пушкина ни Крестова, ни Есипов не говорят, но суждения Есипова о позиции Крестовой помогают понять, что приводимая Воропаевым цитата, вполне возможно, не является выдумкой Смирновой-дочери. В ее «Записках...» рассказывается о составленном Пуш-

киным списке произведений, которые Россет передавала царю. Среди них значатся «и стихи, когда государь читал „Илиаду“ перед балом. Этот последний факт я рассказала Гоголю, который записал его, так он был им поражен». Пушкин спрашивает у Россет: «— Почему вы настаивали на том, чтобы тотчас показать государю стихи по поводу „Илиады“? — Потому, что они прекрасны и доставили ему удовольствие, да вы и сами отлично знаете, что он мне ответил. <...> Он сказал: — Я и не подозревал, чтобы Пушкин до такой степени за мною наблюдал и чтобы это даже могло поразить его. Это не поразило никого более из бывших на бале»⁶. Эпизод этот Смирнова-дочь (равно как и ее мать) вполне могли *сочинить* (он укладывается в их идиллическую картину отношений Николая и Пушкина), но только в том случае, если они ориентировались на письмо X «Выбранных мест...» в изданиях, где вычеркнутые цензурой фрагменты были восстановлены.

Конечно, сторонники версии посвящения Николаю (Жуковский, Гоголь, Смирнова-Россет — довольно авторитетные свидетели) могли создать общий миф. Однако их версия была широко распространена и принята не только сторонниками консервативных концепций. Стихотворение истолковывал подобным образом и М. Лемке, отнюдь не поклонник официальных мифов⁷.

Независимо от того, посвятил ли Пушкин стихотворение Николаю или нет, оно входило в миф о Пушкине 1830-х гг. как о религиозном, монархически настроенном писателе, выражавшем тенденции высокой русской лирики, ее патриотизм (официальный) и любовь к царю. Миф далеко не во всем соответствует действительности, но вопроса о посвящении он не снимает.

Вместе с тем уже до революции были сторонники версии посвящения стихотворения Гнедичу. Впервые связал его с Гнедичем В. Г. Белинский в третьей и пятой статьях цикла «Сочинения Александра Пушкина», не давая мотивировки. Авторитет Белинского велик, но в данном случае он мог и ошибаться. Белинский не был близок к писателям пушкинского круга, версия Гоголя не была ему известна («Выбранные места...» еще не опубликованы). Не исключено, что вывод критика основан на ассоциации имен Гомера и его переводчика.

Посвящение стихотворения императору вызвало сомнение и С. П. Шевырева, человека консервативных взглядов, близкого Гоголю, выполнявшего многие его поручения, в частности по подготовке публикации «Выбранных мест...»: «Как ты мог сделать ошибку, нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл. Смысл неприличный даже?» Гоголь ответил Шевыреву, отвергая версию Гнедича, прилагая к письму не пропущенный цензурой его рассказ о происхождении стихотворения Пушкина и приписку: «Слух о том, что это стихотворение Гнедичу, рас-

пустил я. С моих слов повторили это „Отечественные записки“». Непонятно: зачем Гоголь распустил такой слух? Не исключено, что Николай не хотел, чтобы стихотворение было опубликовано и связывалось с его именем (как и стихотворение «Друзьям»).

Против версии посвящения Николаю выступали В. Ф. Саводник⁸ и Н. О. Лернер (примечания к стихотворению в венгерском издании сочинений Пушкина)⁹.

В советское время версия посвящения стихотворения Гнедичу стала основной, канонической. Это произошло по той же причине, что и правка Л. В. Крестовой мемуаров Смирновой-Россет. Рассказ Гоголя сочли выдумкой, о мнении Жуковского и Россет обычно не упоминали, вообще о версии посвящения Николаю *забыли*. Необходимо было доказать, что адресат панегирического стихотворения — не царь. Что и было сделано, довольно убедительно, в статье Н. Ф. Бельчикова «Пушкин и Гнедич. История послания 1832 года»¹⁰.

Версию Гнедича подтвердил своим авторитетом Б. В. Томашевский в примечаниях к «малым академическим» изданиям Пушкина: «Стихотворение является ответом на послание Н. Гнедича „А. С. Пушкину по прочтении сказки его о царе Салтане и проч. (1831)“ <...> Первой строкой стихотворения Пушкин напоминал Гнедичу об адресованном ему в 1821 г. послании Рылеева, где имеется стих:

С Гомером отвечай всегда беседой новой.

В 1832 г. всякое прямое упоминание имени Рылеева было воспрещено»¹¹. О версии Николая здесь не упоминалось. Более того, стихи связывались с революционной традицией декабристов, от которой Гнедич в 1830-е гг. был далек, как и Пушкин. Возражение вызывает толкование Томашевским слов «Он *сетует* душой на пышных играх Мельпомены» (в стихотворении Пушкина они противопоставлены «забаве площадной <...> лубочной сцены») как характеристики Гнедича — «театрального деятеля» (здесь и далее курсив мой). Версию посвящения Гнедичу поддержали Б. С. Мейлах¹² и В. Э. Вацуро в превосходной в целом статье «Пушкин в сознании современников»: версия Гоголя и здесь была объявлена выдумкой. Говоря о «Выбранных местах...» Гоголя и усматривая в них начало «мифологизации» Пушкина, Вацуро считал «ярчайшим ее примером <...> полностью изобретенный Гоголем рассказ о стихотворении „С Гомером долго ты беседовал один“...»¹³. Мотивировки этого вывода в статье не дано.

Итак, казалось, истина окончательно установлена. Стихотворение без всяких оговорок печатается под названием «К Гнедичу». Только в последние годы, в частности, в связи с пушкинским

юбилеем (1999) вспомнили вновь о версии посвящения Николаю. Полемика возобновилась. В. Ю. Белоногова повторила официальную версию, но все же упомянула как мифотворчество Гоголя версию Николая¹⁴.

Не останавливаясь на популярных публикациях, значительная часть которых имеет к научным исследованиям косвенное отношение (М. Зубков, А. Макаров, М. Искрин и др.). Большинство авторов решительно отвергает версию посвящения Николаю, нередко довольно агрессивно. Сомнение в верности версии Гнедича высказано в книге Л. М. Аринштейна «Пушкин. Непричесанная биография»¹⁵. С осуждением ее автора выступил Н. В. Перцов. Он считает основной версию Гнедича, но замечает: «Можно согласиться с тем, что при отнесении стихотворения к Гнедичу возникает целый ряд неувязок, но, увы, таковые возникают и при безоговорочном отнесении его к Николаю I»¹⁶.

В. А. Воропаев, напротив, считает основной версию посвящения Николаю, но тоже с оговорками, предположив, что версия Гнедича могла быть *привходящим вариантом*, так как смысл стихотворения не может быть объяснен до конца версией Николая. «Возможно, что Пушкин имел в виду и великий труд Гнедича, и государя Николая Павловича (его, может быть, более), читавшего „Илиаду“, которая и была ему посвящена переводчиком»¹⁷.

Приведу текст послания Гнедича, который, по словам исследователей, побудил Пушкина написать стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один...»:

А. С. Пушкину по прочтении сказки его о царе Салтане и проч.

Пушкин, Протей,

Гибким твоим языком и волшебством твоих песнопений!

Уши закрой от похвал и сравнений

Добрых друзей;

Ты же, постигнувший таинства русского духа и мира,

Пой нам по-своему, русский Баян!

Небом родным вдохновенный,

Будь на Руси ты певец несравненный.

23 апреля 1832 г.

Послание хвалебное, но, по-моему, причиной создания стихотворения Пушкина вряд ли является. Не похоже на восхищение и отношение Пушкина к Гнедичу, доброжелательное, дружественное, но не более того. Пушкин отправил Гнедичу несколько писем, в основном в начале 1820-х гг. Тон их всегда сочувственный, почтительный. Гнедич был старше Пушкина на 15 лет. Письма крайне вежливые, так младший пишет старшему, глубоко уважаемому, но не близкому человеку. Письмо от 23 февраля 1825 г. из

Михайловского самое похвальное: «Кажется, Вам обязан „Онегин“ покровительством Шишкова и счастливым избавлением от Бирукова. Вижу, что дружба Ваша не изменилась, и это меня утешает». Комментаторы указывают, что речь идет о первой главе «Евгения Онегина», о каком-то заступничестве Гнедича перед министром просвещения А. С. Шишковым и избавлении от придирчивого цензора А. С. Бирукова. Гнедич для Пушкина «мэтр», по крайней мере, Пушкин старается это показать: «Когда Ваш корабль, нагруженный сокровищами Греции, входит в пристань при ожидании толпы, стыжусь Вам говорить о моей мелочной лавке № 1 <...> Ничего не пишу, а читаю мало, потому что Вы мало печатаете». Следует добавить одну деталь. Еще до южной ссылки Пушкина Гнедич оказался издателем поэмы «Руслан и Людмила» и выдал Пушкину, очень нуждавшемуся в деньгах, значительно меньшую сумму, чем получил сам за ее издание. 19 августа 1823 г. Пушкин писал из Одессы Вяземскому: «Мне до тебя дело есть: Гнедич хочет купить у меня второе издание „Руслана“ и „Кавказского пленника“ — но timeo danaos, т. е. боюсь, чтоб он со мной не поступил, как прежде». На то, что Гнедич издал поэму Пушкина, в комментариях обычно указывается, а о том, что обсчитал его, нередко умалчивается.

Позднее «соотношение сил» изменилось, но Пушкин продолжал относиться к Гнедичу с уважением и доброжелательностью. В письме Плетневу от 24 февраля 1831 г. он упоминает о том, что с удовольствием узнал о «назначении» Гнедича членом Главного управления училищ: «Оно делает честь государю, которого искренно люблю и за которого всегда радуюсь, когда поступает он умно и по-царски».

В конце декабря 1829 г. вышел перевод «Илиады», плод многолетнего труда Гнедича. В «Литературной газете» от 6 января 1830 г. напечатан короткий отзыв Пушкина: «Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожидаемый перевод Илиады! <...> с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига. Русская Илиада перед нами. Приступаем к ее изучению, дабы со временем отдать отчет нашим читателям о книге, долженствующей иметь столь важное влияние на отечественную словесность». Конкретного разговора о книге в заметке нет. Он только обещан. Но общий тон в высшей степени сочувственный.

Гнедич был тронут отзывом, в день выхода «Литературной газеты» он посылает Пушкину записку в завышенно эмоциональном тоне, приглашает встретиться в ресторане «Andrieux»: «Едва ли мне в жизни случится читать что-либо о моем труде, что было бы сказано так благородно и было бы мне так утешительно и слад-

ко!» Пушкин отвечает согласием, в том же стиле; в его ответе тоже много эмоций, но тон несколько меняется, по сравнению с письмами начала 1820-х гг.; он скорее доброжелательно-снисходительный, а не восхищенный. Суть записки, пожалуй, сводится к объяснению, почему Пушкин не может написать обещанный отзыв: «Я радуюсь, я счастлив, что несколько строк, робко наброшенных мною в „Газете“, могли тронуть Вас до такой степени. Незнание греческого языка мешает мне приступить к полному разбору „Илиады“ Вашей. Он не нужен для Вашей славы, но был бы нужен для России».

В полемике с С. Е. Раичем по поводу отзыва о переводе «Илиады» Пушкин вновь высоко оценивает подвиг Гнедича и замечает: «Не полагая, что имею право судить немедленно и решительно о таком важном труде, каков перевод 24 песен „Илиады“, я ограничился простым объявлением; по моему незнанию греческого языка замечания мои были бы односторонними». Итак, Пушкин написал *простое объявление*, признал огромный труд, а о качестве судить отказался, по уважительной причине.

Пушкин был на похоронах Гнедича (3 февраля 1833 г.), но в письмах не откликнулся на его смерть. Более об «Илиаде» он не упоминает. Приведенные факты трудно связать с панегирическим тоном стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один...».

Болдинской осенью (1830) Пушкин пишет двестише «На перевод Илиады» (опубликовано в альманахе «Альциона» на 1832 г.):

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,
 Старца великого тень чую смущенной душой.

Дистих этот стал как бы мерилom пушкинского отношения к Гнедичу. Пушкин действительно очень высоко ценил его перевод. Но подлинным героем здесь является все же Гомер, *великий старец*. Другое же стихотворение, почти с тем же названием — «К переводу Илиады» — Пушкин написал (той же болдинской осенью) не для печати, а для себя:

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,
 Боком одним с образцом схож и его перевод.

В рукописи двестише тщательно зачеркнуто. Пушкин явно не хотел, чтобы оно стало известно. Комментаторы акцентируют зачеркивание. А почему же было написано зачеркнутое двестише — либо не объясняют, либо объясняют не очень убедительно.

Маловероятно, что к Гнедичу могло относиться слово «про-рок», как и сравнение с библейским Моисеем. С Николаем это еще меньше связывается, но в этом случае высокий стиль объ-

ясным особенностями оды, обращением к царю (как и в «Фелице» Державина). Таким образом, отношения Пушкина и Гнедича, по-моему, делают маловероятным посвящение последнему панегирического стихотворения. Кроме того, если стихотворение посвящено Гнедичу и написано в 1832 г., непонятно, почему Пушкин его не опубликовал.

Для понимания стихотворения важны работы В. Э. Вацуро¹⁸ и Л. М. Лотман¹⁹. И В. Э. Вацуро, и Л. М. Лотман выводят стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один...» из узкого круга вопроса о посвящении и связывают с важными для Пушкина проблемами. Статья, посвященная этому стихотворению, следуя за статьей о «Пророке», открывает «Записки комментатора». Главный вывод Вацуро не вызывает сомнений: стихотворение «не теряет своего значения литературной декларации — одной из важнейших в поздней пушкинской лирике»²⁰. Представляются верными и многие частные уточнения: стихотворение закончено в 1834-м., а не в 1832 г., является ответом не на послание Гнедича, а на его книгу «Стихотворения Николая Гнедича». Исследователь признает, что послание Гнедича — «довольно неискусные стихи», а отсылка Пушкина к строке Рылеева сомнительна. Можно согласиться с мнением В. Э. Вацуро, что «Выбранные места...» построены «по закону романтического гиперболизма», что даже подлинные разговоры Пушкина, слышанные Гоголем, «отрываются от речевой ситуации, теряют контекст, мифологизируются», что «Пушкин в них — не столько реальное лицо, сколько символ, воплощение национальных, поэтических и шире — духовных начал...». Но из этих верных рассуждений, по-моему, вовсе не следует, что история стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один...» является «самым ярким проявлением творимой легенды». Мне представляется не совсем убедительным стремление автора связать стихотворение с Гнедичем, отмежевав его полностью от варианта посвящения Николаю. Вызывает сомнение безусловное согласие с версией Белинского. Не раскрывает, думается, статья и отношений Пушкина и Гнедича, хотя Вацуро и замечает, что для Пушкина Гнедич был скорее «знаком, символом», что Пушкин «далеко не безусловно принимал Гнедича-литератора» и «конечно, идеализировал Гнедича». Первое, думается, верно, второе — сомнительно. Не совсем убедительно, с моей точки зрения, объясняется довольно длительный перерыв между началом работы над стихотворением и его окончанием — через два года после послания Гнедича. Отношения Пушкина и Гнедича несколько приукрашены. При таком толковании стихотворение звучит в духе, близком канонической советской версии, хотя повторяю: основной вывод В. Э. Вацуро, по-моему, верен. Убедительным представляется и то, что стихотворения «Пророк» (в нем отчет-

ливо звучат автобиографические мотивы) и «С Гомером долго ты беседовал один...» сближены. Отмечу, что исследователь дает свою интерпретацию не как твердое решение, а как «гипотезу», часто употребляя формулировки: *мы предполагаем, кажется, вероятно, насколько нам известно* и т. п.

С В. Э. Вацуро почти во всем соглашается Л. М. Лотман, связывающая стихотворение с традицией оды, с неоднократно использованным Пушкиным высоким библейским стилем, с обращением к Библии, в частности, чтобы «выразить мысль о высоком назначении поэта». В эпиграф статьи вынесены слова: «Пушкин видел свое значение как главы русских поэтов...». По мнению автора, «иносказательный план стихотворения» «С Гомером долго ты беседовал один...» «дал ему высокий стилиевой регистр, исключаящий слишком конкретное толкование реалий». Далее Л. М. Лотман добавляет: «уподобляя Гомера Богу, а поэта пророку Моисею, Пушкин сознает, что библейская „оболочка“ запечатлевается в сознании читателя как и образ античного поэта, с которым „беседовал“ много лет, уединившись, поэт современный...». Слова *поэт современный* здесь явно указывают на Гнедича, хотя имени его автор не называет.

Отмечу, что почти никто из исследователей не упоминает об обстановке первой половины 1834 г., когда, видимо, создавалось стихотворение. Именно о ней речь идет у Гоголя. Пушкин писал 1 января в «Дневнике», что он «пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)», но «...двору (царю. — П. Р.) хотелось, чтобы Наталия Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau»²¹. Что значит это имя? Данжо (де Курсильон), маркиз, академик, придворный летописец, приближенный короля Людовика XIV, вел «Дневник» («Journal du marquis de Dangeau»), охватывавший несколько десятилетий жизни французского двора, педантично фиксируя мелочи придворной жизни, льстил королю, его близким. «Дневник» сурово оценивал Сен-Симон: «он им льстил и пресмыкался перед ними». Осуждал дневник Данжо и Вольтер. Но огромное количество материалов, факты, в изобилии приводимые Данжо, позволяли иногда делать выводы, не совпадавшие с замыслами королевского панегириста. Поэтому, в частности, Сен-Симон, осуждавший Данжо, использовал его «Дневник» в своих мемуарах. Тем не менее возможность таких выводов не превращала дневник в обличение Людовика XIV и придворной жизни. В библиотеке Пушкина были книги и Данжо, и Сен-Симона. Судя по всему, поэт знал цену первому и предпочитал второго. Смирнова-Россет несколько раз замечает, что Пушкин советовал ей писать мемуары в духе Сен-Симона. Данжо упоминается *только* один раз, в приведенной пушкинской фразе. О смысле ее велась длительная полеми-

ка, итоги которой словно бы окончательно подвела Л. В. Крестова²². Она утверждала, что Данжо воспринимался Пушкиным как писатель-обличитель, объективно показавший разврат двора и высшего духовенства. Сам Пушкин, по мнению Л. В. Крестовой, вслед за Данжо, в своем «Дневнике» намеревался стать таким же обличителем, выражая ненависть к абсолютистскому строю, отмечая «темные стороны придворной жизни», «бедственное положение народных масс». Пушкин, согласно Л. В. Крестовой, выступая «сатириком-обличителем», создает образ императора — «ограниченного, развратного, грубого, невысокой культуры мелочного человека».

Более содержательно «Дневник» Пушкина и полемика, связанная с ним, проанализированы Я. Л. Левкович²³. Она дает подробный обзор суждений о «Дневнике», детально рассматривает его содержание, избегая прямолинейного толкования в духе Л. В. Крестовой. Но все же Я. Л. Левкович считает, что Л. В. Крестова внесла «ясность в истолкование записи Пушкина» о русском Данжо, увидев в поэте «летописца и обличителя придворных нравов».

По моему мнению, такая трактовка не соответствует действительности. Думается, упоминание Данжо имеет иной смысл. Задачу обличения самодержавия, скрытой сатиры на царя поэт перед собой не ставил. Он просто в интимном, не предназначенном для печати дневнике записывал свои впечатления о придворной жизни, отлично понимая, почему его сделали камерюнкером: конечно, не только для того, чтобы жена танцевала в Аничковом, — самого Пушкина надеялись превратить в придворного летописца, в русского Данжо. Имя последнего в применении к себе звучит у великого русского поэта с долей иронии и самоиронии. Пушкин якобы соглашается с навязанным ему амплуа, собираясь не *стать* Данжо, а *играть его роль*, которая ему не очень по нутру. В жизни и творчестве поэта ролевая игра имела большое значение²⁴. Без учета *игры* непонятен «Дневник», текст *игровой*. В нем нарочито акцентируются малозначительные события, но Пушкин сообщает и факты с сильным подтекстом: о безумной ревности Безобразова (жена его была любовницей царя), о получении Николаем известия о казни декабристов. В «Дневнике» многократно упоминается бедность, нищета народа, противопоставленная непомерной роскоши, огромным тратам богачей. В ироническом ключе рассказывает Пушкин о праздновании совершеннолетия наследника, многократно упоминает он о своем неумении приспособиться к придворному этикету. Многое ему интересно: встречи со Сперанским, рассказы Сперанского о временах Александра. Для Пушкина важны исторические сведения: об императоре Павле, его убийстве, о Екатерине II, ее

любовниках: «Конец ее царствования был отвратителен». Упоминается об Аракчееве, его смерти, об отношении к нему Николая I. Несколько записей посвящены открытию Александровской колонны: Пушкин уехал из Петербурга, чтобы не присутствовать на этой церемонии; он считал, что «церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш долго еще не разберет». Рассказывается о встречах с царем, с царицей, с великим князем Михаилом Павловичем, иногда с негативной оценкой (особенно запись от 10 мая по поводу перехваченного письма к жене, обычно цитируемая; но даже в ней упоминается, что царь — человек *благовоспитанный и честный*), иногда нейтрально, даже доброжелательно, особенно о встречах с царицей. Пушкин называет замечания императора о «Пугачеве» «очень дельными», признает, что «государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве...» (это обычно не комментируются). Окончание дневника (февраль 1835 г.) — резкая критика С. С. Уварова и М. А. Дондукова-Корсакова, усиления цензурных придирок.

Анализ «Дневника» Пушкина не является моей задачей (для этого следовало бы писать особую статью). Мне хотелось лишь отметить, что Пушкин, создавая его, использует различные краски, а не только черную, обличительную, как старались доказать его исследователи, в первую очередь Л. В. Крестова. Для роли, играемой Пушкиным, панегирическое стихотворение, адресованное царю, было вполне уместно.

Для нее немалое значение имела и сатира, ирония, мистификация. При этом возникала тема Державина. Не исключено, что Пушкин в стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один...» в какой-то степени, как и Гоголь, ориентировался на оду к Фелице. Ее мотивы, возможно, отразились в стихотворении («роза алая» — «роза без шипов», дважды появляющаяся в оде Державина; обращения к народному лубку: у Пушкина «Вослед Бовы иль Еруслана», у Державина — «Полкана и Бову читаю»; в обоих случаях лубок противопоставляется чему-то иному: у Пушкина — «пышным играм Мельпомены», у Державина — Библии, при чтении которой повествователь засыпает). Пушкин как бы угадывает будущее обращение Гоголя к традиции Державина при толковании им стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один...». Но Гоголь рассматривает мотив любви к царю всерьез, Пушкин же скорее в игровой тональности, с толикой иронии и мистификации, переключаясь затем на высокий библейский стиль при создании образа истинного поэта, пророка, Моисея. Кстати, Пушкин, как и Державин в «Фелице», не выделяет себя из круга лиц, противопоставленных воспеваемому адресату.

Нечто сходное можно уловить в неоконченной иронической поэме «Езерский», с явно автобиографическим подтекстом. Езерский — сосед *автора*, который собирается воспеть его, ссылаясь на авторитет Державина:

Державин двух своих соседев
И смерть Мещерского воспел;
Поэт Фелицы быть умел
Певцом их свадеб, их обедов.

Сопоставление дается в ключе самоиронии, но связано с верным пониманием Державина, поэзия которого не сводится к воспеванию Фелицы. В том же духе поэт возражает на будущие упреки:

Заметят мне, что есть же разность
Между Державиным и мной <...>
Что князь Мещерский был сенатор,
А не коллежский регистратор.

В то же время державинский мотив как бы подготавливает две предпоследние строфы, XIII и XIV. В них тон резко меняется, происходит переключение. Если ранее и в Езерском, и в *авторе* лишь просвечивали черты самого Пушкина, то в предпоследних строфах, выдержанных в высоком стиле, автобиографичность вполне ясна: речь идет о роли поэта, сравниваемого с ветром, с орлом, с любовью Дездемоны:

Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.

Строфы эти органично входят в круг взаимосвязанных пушкинских стихотворений. В них часто используются реминисценции из Библии, высокий стиль: «Поэт» («божественный глагол»), «Эхо» («таков и ты, поэт»), «Арион» («я гимны прежние пою»). «На перевод „Илиады“» («звук божественной эллинской речи/ Старца великого тень...»), «Пророк» («...Божий глас ко мне воззвал <..> Исполнишь волею моей/ И, обходя моря и земли,/ Глаголом жги сердца людей»), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» («веленью Божию, о муза, будь послушна»). В них звучит мотив верности высокому поэтическому служению и гордость им. Автор создает как бы цепочку: Бог — Пророк — Поэт — Творец (Гомер, можно было бы назвать и Шекспира, Гете). В этот комплекс естественно входит и стихотворение «С Гомером дол-

го ты беседовал один.» Оно — панегирик, но не Николаю и не Гнедичу. В нем, возможно, присутствует и мистификация: кому стихотворение посвящено? Императору, Гнедичу, кому-либо еще? Хороший вопрос для потомков.

Героем перечисленных выше стихотворений является *Истинный поэт, Пророк*, послушный только воле Бога, народный, всеслышащий, всевидящий, всемирно отзывчивый, жгущий божественным глаголом сердца людей. Моисей с божественными скрижалями, библейский дух, высокий стиль в стихотворении такого рода вполне уместны. *В России таким поэтом, которому и посвящено в конечном итоге стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один..», был только сам Пушкин, что он, конечно, хорошо понимал.* Первая же строчка могла указывать и на Гнедича, и на императора, но это не так важно.

Приведенные выше рассуждения — гипотеза, по моему мнению, кое-что объясняющая, не только в вопросе об адресате стихотворения. Полагаю, что в любом случае спор о том, кому оно посвящено и когда было написано, следовало бы прекратить, если не появятся новые документальные свидетельства. В будущих изданиях стихотворение нужно печатать без названия, в том виде, в каком оно сохранилось в бумагах Пушкина; датировать его 1834 г. (или публиковать без даты); в примечаниях сообщать о версиях адресата и печатать строчки, обнаруженные позднее. Понимаю, что мои пожелания вряд ли будут выполнены.

Примечания

- ¹ *Воропаев В. А.* Поэт и Царь Гоголь о монархизме Пушкина // Пушкин и Крым IX Крымские Пушкинские международные чтения. Крым, Гурзуф, 18–21 сент. 1999 г. Симферополь, 2000. С. 19–20.
- ² *Крестова Л. В.* К вопросу о достоверности так называемых «Записок» А. О. Смирновой // Смирнова А. О. Записки, дневники, воспоминания, письма. М., 1929. С. 355–393.
- ³ *Житомирская С. В.* А. О. Смирнова-Россет и ее мемуарное наследие // Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 627.
- ⁴ См. *Смирнова-Россет А. О.* Записки. М., 2003.
- ⁵ *Есипов В.* «Подлинны по внутренним основаниям» // Новый мир. 2005. № 6. С. 140–158.
- ⁶ *Смирнова-Россет А. О.* Записки. М., 2003. С. 382.
- ⁷ *Лемке Мих.* Николаевские жандармы и литература. 1826–1855. СПб., 1908.
- ⁸ *Саводник В. Ф.* Заметки о Пушкине. По поводу стихотворения к Н*** // Русский архив. 1904. № 5. С. 140–148.
- ⁹ *Пушкин А. С.* Собр. соч. СПб., 1915. Т. 6. С. 461–464.
- ¹⁰ *Бельчиков Н. Ф.* Пушкин и Гнедич. История послания 1832 г. // Пушкин. М., 1924. Сб. I. С. 197–199.

- ¹¹ См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. 3. С. 461.
- ¹² Мейлах Б. С. «С Гомером долго ты беседовал один...» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974.
- ¹³ Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников // Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 34.
- ¹⁴ Белоногова В. Ю. Гоголь о «тайне» пушкинского стихотворения «С Гомером долго ты беседовал один...» // Грехневские чтения. Н. Новгород, 2001.
- ¹⁵ Ариштейн Л. М. Пушкин. Непричесанная биография. М., 2007.
- ¹⁶ См.: Перцов Н. Непричесанные мысли о «Непричесанной биографии» // Новый мир. 1999. № 12.
- ¹⁷ Воропаев В. А. Указ. соч. С. 20.
- ¹⁸ Вацуро В. Э. Поэтический манифест Пушкина // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 17–29.
- ¹⁹ Лотман Л. М. Проблема «всемирной отзывчивости» Пушкина и библейские реминисценции в его поэзии и «Борисе Годунове» // Пушкин: Исследования и материалы. СПб., 2004. Т. XVI–XVII. С. 131–147.
- ²⁰ Вацуро В. Э. Записки комментатора. С. 28.
- ²¹ О камер-юнкерстве Пушкина см.: Рейсер С. А. Три строки дневника Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1985. С. 146–152.
- ²² Крестова Л. В. Почему Пушкин называл себя «русским Данжо»? (к вопросу об истолковании «Дневника») // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 267–277.
- ²³ Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988.
- ²⁴ См. об этом: Вольперт Л. И. Пушкин в роли Пушкина. М., 1998; Вольперт Л. И. Пушкинская Франция. СПб., 1997.

CON AMORE

Историко-филологический сборник в честь
Любови Николаевны Киселевой

О · Г · И
МОСКВА
2010